Надточий В.Д.

Московский попаданец



Менеджер по связям с Иваном Грозным

18+

Владислав Надточий

Московский попаданец. Менеджер по связям с Иваном Грозным.

«Автор»
2026

Надточий В. Д.

Московский попаданец. Менеджер по связям с Иваном Грозным. / В. Д. Надточий — «Автор», 2026

А что, если ваш главный клиент — сам Иван Грозный?Аркадий Кочкин — менеджер по ключевым клиентам. Ему 57 лет, за плечами десятки кризисов и двенадцать лет работы с человеком по прозвищу Грозный.Но однажды судьба забрасывает его в 1553 год. И теперь его клиент — настоящий Иван Васильевич!У Аркадия нет меча, титула и влиятельных родственников. Зато есть тетрадка в клетку, пять правил ведения переговоров и огромный опыт общения с трудными заказчиками.Как разгребать царские челобитные? Как вести переговоры с английскими купцами? Как сообщать плохие новости человеку, который привык решать проблемы посохом?Аркадий ещё не знает, что впереди его ждут придворные интриги, государственные поручения и самые необычные деловые встречи в истории Руси.Когда твоя работа — находить общий язык с Грозным, уже неважно, в каком веке ты живёшь!

© Надточий В. Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Ключевой клиент 6
Глава 2. Холодный звонок 13
Глава 3. Должностная инструкция 21
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Владислав Надточий
Московский попаданец. Менеджер по связям с Иваном Грозным.

Надточий В.Д.

Московский попаданец

Менеджер по связям с Иваном Грозным

Аннотация

Двенадцать лет он работал с клиентом по прозвищу Грозный. Теперь у него клиент по имени Иван Васильевич. Настоящий. Аркадию Степановичу Кочкину пятьдесят семь лет. Он менеджер по ключевым клиентам, пережил девять генеральных директоров и дефолт, носит очки на шнурке и записывает всех людей в тетрадку в клетку. В офисе его зовут «менеджер по связям с Грозным»: только он умеет разговаривать с застройщиком, который швыряет в поставщиков степлеры. Молодой начальник в белых кроссовках уже готовит ему почётную пенсию.

На дне рождения внучки, в Коломенском, Грозный звонит в седьмой раз. Аркадий уходит поговорить в Голосов овраг, садится на камень в зелёном тумане, а встаёт уже в 1553 году. С бейджиком на шее, баночкой мыльных пузырей и лысиной, на которую немедленно садится государев кречет.

Иван Васильевич вспыльчив, начитан, швыряется посохом и не терпит, когда ему перечат. Но у Аркадия есть пять правил работы с ключевым клиентом, и они, как выясняется, работают даже в XVI веке. С ними он разберёт завал челобитных, встретит первых англичан, приплывших в Россию искать Китай, переведёт королевскую грамоту за одну ночь, отучит первопечатника читать корректуру с начала и прокатит самодержца на подъёмнике по лесам строящегося Покровского собора. А ещё поймает казнокрада с пряником, научит русского посла презентации «за минуту» и посватает невесту через сокола.

У Аркадия нет ни меча, ни придворного чина. Зато есть опыт переговоров, тетрадка в клетку и редкое умение вовремя сказать правду — даже человеку, которому никто не решается возражать.

Самостоятельная история из серии «Московский попаданец».

Глава 1. Ключевой клиент

Телефон у меня звонит двумя мелодиями. Обычная, для людей, играет что-то бодрое из начала девяностых. Я поставил её, когда ещё понимал, как это делается, и с тех пор не трогаю. А на одного человека у меня стоит «Полёт валькирий». Не потому что я люблю Вагнера. Просто когда начинают гудеть эти трубы, у меня есть ровно четыре секунды, чтобы встать, застегнуть пиджак, выйти в коридор и сделать лицо человека, который весь день ждал именно этого звонка.

В пятницу, в восемь сорок утра, валькирии полетели, когда я стоял в лифте. В лифте нашего офисного здания, между прочим. Компания «Подъёмник» тридцать лет продаёт и обслуживает лифты и эскалаторы, а в офисном здании на Шаболовке лифт у нас чужой, старый, с картонной табличкой «Не прыгать!» и с характером. Он подумал, дёрнулся и встал между третьим и четвёртым этажом.

— Кочкин! — сказал телефон голосом, от которого у нашей секретарши однажды завяла герань. — Ты где?

— В лифте, Игорь Вадимович.

Я прижал телефон плечом и достал тетрадку. На обложке было написано «Клиенты. Том 37». Станислав предлагал заменить её программой, но программа ни разу не звонила мне в восемь сорок с требованием немедленно починить шесть лифтов.

— В каком ещё лифте?! Вы лифтовая компания или кто?! У меня на Нагатинской шесть кабин не сданы, комиссия в среду, а ты в лифте катаешься!

— Не катаюсь, Игорь Вадимович. Стою. Это не наш лифт. Наш хотя бы знает, на каком этаже ему стыдно остановиться.

На том конце что-то упало. Игорь Вадимович Гроздев, хозяин строительной группы, возводившей в Москве комплексы с названиями вроде «Садов Семирамиды» и «Эдельвейс-Плазы», любил бросать вещи. Телефоны, ручки, папки. Однажды стул. Стул был пластиковый и летел в главного инженера, но я стоял рядом и хорошо запомнил траекторию.

— У меня к вам вопрос, Игорь Вадимович, — сказал я. — Если мы лифтовая компания, почему лифт в нашем здании возит меня туда, куда ему хочется?

— Кочкин, не умничай!

Я записал: «Лифт. Самостоятельный характер. Начальство не уведомлять».

В офисе его зовут Грозный. Сначала звали за глаза, потом в глаза тоже, а ему понравилось. А меня соответственно называют «менеджер по связям с Грозным». Люба Зайцева, наш офис-менеджер, даже распечатала мне табличку на стол, обвела рамочкой и приклеила рядом смайлик в шапке Мономаха. Табличку я не снимаю. Во-первых, Люба обидится. Во-вторых, это правда.

— Значит, так, — сказал Гроздев. — В понедельник в девять у меня на объекте. С монтажниками, с бумагами и с хорошими новостями. Плохие новости можешь оставить дома.

— Плохие новости, Игорь Вадимович, я вам принесу первым, — сказал я. — Лично. Это у меня правило.

Он помолчал. За двенадцать лет я выучил: Гроздев кричит не от злости, а от страха, что его опять обманут. Его обманывали прорабы, поставщики и даже родной шурин. Я не врал. Не из святости: один раз соврёшь клиенту — и потом двенадцать лет сверяй показания.

— Ладно, — сказал он уже тише. — Приезжай. И это… Кочкин. Внучке там от меня. С днём рождения.

И повесил трубку. Я постоял в застрявшем лифте и подумал, откуда он знает про внучку. Потом вспомнил: я сам рассказал ему полгода назад, мимоходом, когда он сорок минут кричал про сроки, а потом вдруг спросил, есть ли у меня внуки. Я сказал, что есть одна, Соня, и она родилась шестого июня, в день Пушкина. Он ничего не ответил и стал кричать дальше. А вот, оказывается, записал.

У каждого человека есть своя тетрадь. Даже у Грозного.

Лифт подумал ещё немного и поехал вниз, хотя я нажимал «пять». Я не стал спорить. С лифтами, как и с клиентами, я давно не спорю.

Меня зовут Аркадий Степанович Кочкин. Мне пятьдесят семь лет, и я менеджер по ключевым клиентам. Это значит, что у меня шесть клиентов на всю компанию, но каждый из них приносит больше денег, чем отдел продаж в полном составе, включая кофемашину. Мама, пока была жива, называла мою работу «он у нас по связям», и в этом была своя правда. Я по образованию связист. Окончил Московский техникум связи на Варшавке, потом два года служил радистом под Читой, где научился трём вещам: слушать эфир, говорить коротко и не задавать начальству вопросов, на которые оно не знает ответа.

Родился я на Большой Ордынке, в коммуналке, где было шесть комнат, одна ванная и одиннадцать мнений о том, чья очередь мыть пол. Папа был слесарем на заводе, мама водила трамвай по тридцать девятому маршруту и знала по именам всех пассажиров, включая тех, кто ездил без билета. От мамы у меня, кажется, главный талант: я помню людей. Не лица, лица я забываю, а людей. Кто что любит, кого как зовут, у кого собака заболела, у кого сын поступил. Я всё записываю в тетрадь. Тетрадь у меня не первая. Первая была в девяносто первом году, когда я, двадцатидвухлетний, с техникумом и армией за плечами, продавал пейджеры в подвале на Таганке. Сейчас идёт тридцать седьмая. Она лежит во внутреннем кармане пиджака, в клетку, на сорок восемь листов, с ручкой на резинке.

Над тетрадью у нас в офисе смеются. Особенно смеётся Станислав.

Станислав Олегович Лемехов, наш новый генеральный директор. Двадцать девять лет, белые кроссовки, ухоженная борода и любимое слово «оптимизация». Девятый директор на моей памяти. Первый ходил в малиновом пиджаке и просил продавать что угодно, только не его самого. Второго посадили, третий уехал в Канаду. Остальные сменялись так быстро, что я не успевал запоминать подписи. Каждый начинал с моей тетради и заканчивал визитом к Гроздеву. После визита тетрадь почему-то переставала его беспокоить.

Станислав к Гроздеву ещё не ходил.

Когда лифт довёз меня до первого этажа, я поднялся пешком на пятый, немножко постоял на площадке четвёртого, потому что давление, и зашёл в офис. Люба тут же положила мне на стол две сушки и записку: «Станислав ищет. Очень. С ноутбуком».

С ноутбуком — это плохо. Без ноутбука Станислав просто разговаривает. С ноутбуком он показывает слайды.

— Аркадий Степанович! — Станислав появился в дверях, лёгкий, свежий, пахнущий чем-то цитрусовым. — Зайдёте? Буквально на пять минут.

Пять минут у Станислава обычно длятся сорок, но я пошёл. В его кабинете на стене висел плакат: «Изменения — это возможность». Под плакатом стоял фикус. Фикус, по-моему, был против изменений: он сбрасывал листья с тех пор, как Станислав пришёл.

— Аркадий Степанович, — начал Станислав и развернул ко мне ноутбук. — Вот смотрите. Это наша новая CRM-система. Клиентская база, история контактов, воронка продаж, автоматические напоминания. Все менеджеры уже перешли. Все, кроме вас.

— Я посмотрю, — сказал я.

— Вы это говорите третий месяц.

— Я смотрю, — сказал я. — Красивые у вас воронки. Только Гроздев в воронку не помещается. Он из неё звонит и требует начальника.

Станислав вздохнул так, как вздыхают молодые люди, когда им кажется, что они очень терпеливы.

— Аркадий Степанович, я вас очень уважаю. Правда. Вы легенда. Но компания меняется. Мы проводим оптимизацию. И совет директоров спрашивает меня: а что будет, если Кочкин завтра заболеет? Где его клиенты? В тетрадке? В голове?

— В голове, — согласился я. — И в тетрадке. Голова, конечно, старая, но тетрадка новая. Тридцать седьмая.

Он не улыбнулся. Плохой знак. Улыбаются те, кто ещё не решил.

— Есть программа, — сказал Станислав и закрыл ноутбук, как закрывают крышку чего-то окончательного. — Для сотрудников с большим стажем. Почётный выход. Хорошая компенсация, грамота, ужин, все скажут тёплые слова. Вы ведь через три года всё равно на пенсию. Я не тороплю. Подумайте до конца квартала.

Конец квартала у нас тридцатого июня. Я посчитал в уме, и получилось двадцать пять дней.

— А Гроздев? — спросил я.

— Гроздевым займусь я сам, — сказал Станислав. — Лично. Мы переведём его на новый формат взаимодействия. Цифровой. Без звонков в субботу.

Я представил, как Гроздев знакомится с цифровым форматом. Сначала летит ноутбук, потом специалист по внедрению. На третьем этапе, возможно, удастся договориться о встрече.

— Я подумаю, Станислав Олегович, — сказал я и записал в тетрадь: «Станислав. Оптимизация. 30.06. Фикус».

Он увидел, что я пишу, и у него дёрнулся глаз.

Вечером дома я рассказал всё Тамаре. Тамара Ильинична Кочкина уже двадцать лет директор школы номер какой-то, которая на самом деле теперь называется «образовательный комплекс», хотя дети там те же, что и раньше, и так же курят за гаражами. Мы женаты тридцать два года. Я часто говорю, что тридцать два года живу при самодержавии, и Тамара на это не обижается. Она отвечает, что самодержавие у нас просвещённое, а я в нём состою на должности придворного шута с правом совещательного голоса.

— Почётный выход, — повторила Тамара и сняла очки. Очки она снимает, когда собирается говорить важное. Когда собирается говорить очень важное, она их ещё и складывает. — Аркаша, а ты сам-то хочешь?

— Не знаю, — сказал я. — Я хочу, чтобы меня об этом не спрашивал мальчик в белых кроссовках.

— Мальчику двадцать девять лет. Ты в двадцать девять продавал сотовые телефоны размером с утюг и считал себя гением.

— Я и был гением. Я продал утюг генералу.

— Ты продал утюг генералу, который потом три года звонил нам домой и спрашивал, почему не ловит в бане.

Генерал действительно звонил. Я научил его выходить из бани на крыльцо, чтобы поймать связь. С тех пор он поздравляет меня с Днём связи и каждый раз спрашивает, когда изобретут телефон, который не боится пара.

Тамара сложила очки. Значит, очень важное.

— Завтра у Сони день рождения, — сказала она. — Пять лет. Катя заказала пикник в Коломенском. Ты будешь там весь. Не наполовину. Телефон выключишь.

— Тамара, у меня Гроздев.

— У тебя Гроздев двенадцать лет, — сказала она. — А пять лет у Сони один раз.

С самодержавием не спорят. Я кивнул. Потом подумал и сказал:

— Выключить не могу. Могу поставить на беззвучный. Но если валькирии…

— Аркадий.

— А если Гроздев позвонит с другого номера? — уточнил я.

— Тогда я отвечу, — сказала Тамара. — Представлюсь отделом по работе с родственниками.

— Хорошо. Без валькирий.

Субботнее утро было из тех июньских, когда Москва вдруг вспоминает, что она красивая. Над Ордынкой висело чистое небо, на колокольне у Скорбященской церкви звонили, на газонах лежали студенты, а у подъезда наша соседка Вера Пантелеевна кормила голубей батоном и рассказывала им про давление. Я тоже про давление кое-что знаю, поэтому кивнул ей как коллеге.

Дочь Катя заехала за нами в одиннадцать. Катя ветеринар, работает в клинике на Каширке и разговаривает со всеми одинаково ласково, хоть с овчаркой, хоть с налоговым инспектором. Овчарки её любят больше. Её муж Денис был в командировке в Нижнем, поэтому на пикник мы ехали втроём плюс именинница. Именинница сидела в детском кресле в короне из фольги, держала на коленях подарок от меня, огромную бутыль мыльных пузырей с волшебной палочкой, и объясняла мне правила.

— Дедушка, это очень сильные пузыри, — сказала Соня. — Они волшебные. Если пузырь сядет на человека, человек становится добрый.

— А если на злого?

— Злой тоже становится добрый. Только не сразу. Сначала чихает.

Я записал в тетрадь: «Соня. Пузыри. Злые чихают». Соня проверила, что я записал правильно, хотя читать ещё не умеет, и удовлетворённо кивнула.

Всю дорогу до Коломенского Тамара, по старой учительской привычке, читала нам лекцию. Про то, что Коломенское было любимой загородной усадьбой московских государей. Что здесь отдыхал Иван Грозный, когда был молодым и ещё не таким грозным. Что он любил соколиную охоту и держал при дворе целую сокольничью службу. Катя за рулём кивала, Соня слушала, раскрыв рот, а я делал то, что делаю на этих лекциях тридцать два года: говорил «надо же» в нужных местах. Это очень полезный навык, его не преподают ни в одном вузе страны. Соня спросила, а Иван Грозный был добрый или злой. Тамара задумалась. Педагогический ответ на этот вопрос занимает примерно три урока и одну контрольную. Наконец она сказала, что он был очень разный. Соня подумала и сказала: «Как дедушкин Гроздев». Катя засмеялась так, что чуть не проехала поворот. Тамара сказала, что сравнение неакадемическое, но по существу верное. А я подумал, что если когда-нибудь буду писать мемуары, то начну их именно с этой фразы пятилетней внучки.

Коломенское в июньскую субботу похоже на ярмарку, на которую пригласили всю Москву, а пришли только те, у кого есть дети и собаки. Мы прошли через Спасские ворота, мимо белой шатровой церкви Вознесения, которая стоит над рекой уже пятьсот лет и, кажется, нисколько не устала. Катя рассказала Соне, что эту церковь построил дедушка какого-то царя в честь рождения папы этого царя, и Соня спросила, а кто построил церковь в честь её рождения. Пришлось пообещать, что я лично построю ей шалаш на даче. Бабушка Тамара заметила, что сарай я строю уже шестой год, и с шалашом рекомендовала не торопиться.

Пикник Катя устроила на склоне, на траве, в тени яблонь, недалеко от деревянного дворца. Дворец этот, кстати, не настоящий, его построили заново по старым чертежам несколько лет назад, но он такой огромный, пёстрый и с таким количеством луковиц, что даже Соня, увидев его, сказала «ого» и уронила корону.

Пришли гости. Две подружки Сони из садика с мамами, Катина подруга с мужем-программистом, который всё время смотрел в телефон, и соседский мальчик Лёва, который пришёл без подарка, зато с жабой в банке. Жаба оказалась хитом. Лёва объяснял, что жаба умеет разговаривать, но только с теми, кто ей нравится. Со мной жаба не разговаривала. Видимо, я

ей не понравился. Такого клиента у меня давно не было: за пять минут расположить его к себе не удалось. Я честно отметил неудачу в тетради.

Ровно в двенадцать сорок мой телефон в кармане тихо зажужжал. Я посмотрел на экран и сразу убрал. Гроздев. В двенадцать пятьдесят зажужжал опять. Гроздев. В час десять опять. Тамара посмотрела на меня через поле, через скатерть, через торт с пятью свечками, и я понял, что вижу этот взгляд в первый раз за тридцать два года. Им, наверное, останавливают драки в коридорах.

Я выключил вибрацию. Телефон стал просто мигать.

Мы задули свечи. Соня загадала желание и шепнула его мне на ухо, потому что вслух нельзя, а дедушке можно, дедушка записывает и никому не говорит. Желание было такое: чтобы дедушка никогда не уходил на работу в субботу. Я пообещал. Записал. Потом мы пускали пузыри, и Соня бегала по траве за самыми большими, а гости ели торт, и программист даже на минуту отложил телефон, чтобы попасть пузырём в жабу.

Я убрал телефон в карман. Обещание Соне держалось, пока не пришло сообщение от начальства. В нашей компании семейные праздники считались уважительной причиной отсутствия только у тех, кто ещё не научился отвечать на звонки.

В половине третьего телефон замигал в шестой раз, а потом пришло сообщение. Одно слово, заглавными: «ПЕРЕЗВОНИ». Потом второе: «Нагатинская. Лифт упал».

Я встал. Тамара посмотрела. Я показал ей экран. Тамара прочитала и сразу перестала быть самодержцем: она поняла, что «упал» в нашей профессии — слово серьёзное.

— Иди, — сказала она. — Пять минут. Только отойди от детей, не кричи при Соне.

Я отошёл. За дворцом начинается Голосов овраг. Это такой длинный глубокий распадок с ручьём на дне, с крутыми склонами, заросшими деревьями, где даже летом прохладно и тихо, а связь, наоборот, ловит плохо. Я об этом знал, но подумал, что там зато никто не услышит, как я буду разговаривать. Разговаривать с Гроздевым надо вдалеке от детей. Кричать я не собирался. Кричать собирался он.

На краю оврага, у тропинки, стоит табличка. Я много раз видел её и никогда не читал. Теперь, пока ждал гудков, прочёл. Там было написано про легенды. Будто бы в овраге время от времени ложится зелёный туман, и люди, которые в него заходят, пропадают, а потом выходят через годы, уверенные, что прошло полчаса. Будто бы ещё в двадцатом веке двое крестьян попали в такой туман, встретили там бородатых всадников, а вернувшись в деревню, узнали, что их не было двадцать лет. И что внизу лежат два больших камня, Девичий и Гусь-камень, к которым приходят загадывать желания.

Я хмыкнул. Тридцать лет в продажах учат не верить в чудеса, которые написаны на табличках. Чудеса, которые работают, никогда не рекламируют.

Гроздев ответил на первом гудке. Видимо, держал телефон в руке.

— Кочкин! Ты где?!

— В овраге, Игорь Вадимович. На дне рождения. Что упало?

— Кабина! В третьей секции! Пустая, слава богу! С седьмого этажа на шестой! Ловители сработали, но она висит, и монтажники говорят, это ваш брак, а ваши говорят, это мои строители там что-то сварили! Комиссия в среду! Ты понимаешь, что будет, если она упадёт при комиссии?!

Я спускался по тропинке вниз, потому что связь прерывалась и я надеялся, что внизу будет лучше. Внизу, конечно, было хуже. Голос Гроздева то пропадал, то возвращался, как радиостанция в армии в метель.

— Игорь Вадимович, — сказал я спокойно. — Ловители сработали. Это значит, лифт сделал то, что должен был. Он не упал. Он поймал сам себя. Это не брак, это как раз наоборот.

— Мне плевать, что он сделал! Мне надо, чтобы…

Связь пропала. Я посмотрел на экран: одна палочка. Ноль палочек. Одна. Я пошёл ниже, к ручью. Там, на дне оврага, лежали большие серые валуны, гладкие, отполированные тысячами ладоней. На одном было повязано несколько ленточек. Наверное, тот самый Девичий камень. На другом, пониже, сидела трясогузка и смотрела на меня так, будто я пришёл без записи.

Тут стало холодно.

Сначала я подумал, что это давление. У меня такое бывает: вдруг холод по спине, потом шум в ушах. Я даже нащупал в кармане коробочку с таблеткой. Но шум в ушах не появился. Появился туман.

Он не пришёл, как приходит обычный туман над рекой, медленно, понизу. Он просто стал. Сразу со всех сторон, белый с зеленоватым отливом, как молоко, в которое капнули зелёнки. Трясогузка вспорхнула и исчезла в нём. Деревья на склонах сделались серыми тенями, потом пропали. Звуки праздника наверху, детский визг, чья-то музыка, звон колоколов из Вознесенской церкви, всё стало ватным и далёким.

Телефон в руке вдруг ожил: четыре палочки. Полная связь. Из динамика ясно и чётко сказал Гроздев:

— Кочкин, ты меня слышишь? Кочкин! Если ты сейчас меня бросишь, я тебя…

Дальше он сказал, что сделает. Я слышал это много раз и не впечатлился. Но в тумане его голос прозвучал как-то странно. Гулко. Как будто он кричит не из трубки, а из-под земли, из глубокого каменного подвала.

— Игорь Вадимович, — сказал я, — подождите. Тут туман.

— Какой ещё туман?! У тебя всегда туман! У тебя не туман, у тебя отговорки!

Я хотел сесть на камень, потому что ноги стали ватными. Сел. Камень был тёплый, как будто на нём только что сидел кто-то большой. Туман сгустился так, что я перестал видеть свои ботинки.

— Кочкин… — сказал Гроздев уже совсем далеко. — Ко-оч-кин…

И связь пропала. Совсем. Экран погас, потом снова загорелся, и вместо четырёх палочек там стоял крестик. «Нет сети». Часы на экране показывали четырнадцать сорок семь.

Я сидел на камне, слушал, как стучит сердце, и думал, что надо бы встать и подняться наверх. Тамара ждёт. Соня ждёт. Торт ещё не доели. Я встал. Сделал шаг по тропинке. Тропинки не было. Под ногой была трава, высокая, мокрая, по колено. Сделал второй шаг. Трава. Ручей шумел где-то слева, хотя был справа. Я сделал третий шаг, споткнулся о корень, взмахнул руками, чуть не упал и, чтобы удержаться, схватился за что-то тёплое, шершавое и живое.

Это была лошадиная нога.

Туман вдруг стал редеть, быстро, как будто кто-то открыл огромное окно и его вытягивало сквозняком. Сначала я увидел копыто. Потом вторую ногу. Потом бок рыжей лошади, потом стремя, а в стремени ногу в сапоге из тиснёной красной кожи с загнутым носком. Потом полу длинного зелёного кафтана, потом широкий пояс с топором, а потом и самого всадника. Он смотрел на меня сверху вниз, огромный, бородатый, в шапке, отороченной мехом, и рот у него был открыт.

— Это… ты кто? — сказал всадник басом. — Ты откуда взялся?

Я отпустил лошадиную ногу. Лошадь посмотрела на меня с тем же выражением, что и трясогузка.

— Извините, — сказал я. — Я из оврага.

Всадник медленно перекрестился. Потом посмотрел на мой бейджик. Бейджик я забыл снять с пятницы: синий шнурок, пластиковая карточка, фотография, на которой я выгляжу так, будто меня фотографировали на паспорт в девяносто первом году, и надпись: «ПОДЪЁМНИК. Кочкин Аркадий Степанович. Менеджер по ключевым клиентам».

— Грамота, — сказал всадник уважительно и чуть-чуть испуганно. — На шее грамота.

Он наклонился, прищурился и прочёл вслух по слогам, как читают люди, которые учились грамоте поздно и с трудом:

— Под… ъём… ник. Коч… кин. Ар… ка… дий… Сте… па… нов сын. Ме… не… джер. По… клю… че… вым… кли… ен… там.

Он выпрямился в седле, и взгляд его сразу изменился.

— Ключник, значит, — сказал он. — По ключам. Ты чей человек, ключник Аркадий?

Я оглянулся. Овраг был тот же — крутой, с ручьём, — но деревья на склонах стояли другие, гуще и выше. Тропинка исчезла, ленточек на камне не было. А наверху, над краем оврага, вместо деревянного дворца, который я видел минуту назад, высились терема с резными крышами. Никаких лесов, табличек и туристов. Над крышами поднимался дым, пахло хлебом, навозом и сеном, а где-то лаяли собаки — много, хором. Белая шатровая церковь Вознесения над рекой стояла на своём месте. Та же самая, только стены у неё были светлее и ярче, словно её построили совсем недавно.

Я вспомнил табличку. Зелёный туман. Бородатые всадники. Двадцать лет.

Я достал из кармана тетрадь, открыл на новой странице и сел обратно на камень, потому что ноги снова отказали.

— Ты что делаешь? — спросил всадник.

— Записываю, — сказал я. — Это у меня правило.

Он подумал и кивнул так, как кивают люди, которые всю жизнь служили начальству и знают, что начальство тоже всё время что-то записывает.

— Пиши, — разрешил он. — Только быстро. Государь с охоты едет. Если он тебя, ключника, тут в овраге найдёт, а я не доложил, то с меня шкуру спустят. А с тебя две.

— Какой государь? — спросил я, хотя уже понимал какой. Я сидел в Коломенском, у царского двора, и бородатый стрелец в красных сапогах только что сказал «государь».

Во взгляде всадника появилась жалость — такая бывает к человеку, который упал в овраг и ударился головой.

— Какой-какой, — сказал он. — Наш. Иван Васильевич.

И тут, совсем некстати, у меня в кармане сам собой включился телефон, на секунду осветил экран и показал мне время, дату и крестик вместо сети. Крестик я уже видел. А вот дату я увидел впервые. Телефон уверял, что сегодня шестое июня две тысячи двадцать шестого года, четырнадцать сорок восемь.

Телефон врал — тут я не сомневался: за тридцать лет в продажах я научился распознавать враньё. Но сам я ещё не знал, какая тут настоящая дата, и мне почему-то очень хотелось, чтобы это был хотя бы не тот Иван Васильевич, о котором я подумал.

Потому что с Гроздевым я за двенадцать лет научился работать. А вот с настоящим Грозным у меня не было ни одного дня стажа.

Глава 2. Холодный звонок

Всадника звали Кондрат Ухватов, и он был стрелецкий десятник. Это я выяснил в первые три минуты, потому что Кондрат оказался из тех людей, которые сначала рассказывают о себе всё, а потом уже спрашивают, кто ты. Таких клиентов я люблю. С ними не надо ничего вытягивать, надо только вовремя кивать.

— Стрелецкий я, — сказал Кондрат и спешился, отчего земля под нами, по-моему, немного прогнулась. Он был на голову выше меня и вдвое шире, с бородой лопатой и маленькими добрыми глазами. — Из Воробьёвой слободы. Нас государь три года как завёл, стрельцов. Ране пищальники были, а теперь стрельцы. Кафтаны дали, топоры дали, пищали дали. Жалованье, правда, ещё не все дали, но обещали. Десятник я. Десять человек под рукой. Пять дочерей дома. Жена Улита. Сына Бог не даёт.

— Пять дочерей, — сказал я и записал. — Это много.

— Много, — горько согласился Кондрат. — Я каждый раз свечку ставлю. Николе, Георгию, Флору и Лавру. Флору и Лавру, правда, зря, они по лошадям. А всё одно девки.

— Ты, ключник, слова какие-то чудные говоришь, — заметил Кондрат. — «Клиент», «контакт»… Это по-немецки? — Хуже, Кондрат. Это по-офисному. У нас за такое иногда жалованье повышают, а иногда человека увольняют. Зависит от того, кто первым понял смысл.

— У меня одна дочь, — сказал я, чтобы поддержать разговор. — И одна внучка.

— Тоже девки, — посочувствовал Кондрат и посмотрел на меня как на товарища по несчастью. Это сразу нас сблизило.

— А у вас, Кондрат, семейный совет бывает? — спросил я.

— Бывает. Улита говорит, мы слушаем.

— Значит, у вас современная система управления.

— Какая?

— Надёжная. Решения принимаются быстро, виновный назначается заранее.

Кондрат подумал и просиял:

— А ведь верно! Только ты Улите про систему не говори. Она и без того всё знает.

Я спросил, какое сегодня число. Он сказал, что сегодня двадцать восьмое августа, день Моисея Мурина, а год, понятно, лета семь тысяч шестьдесят первого. Я записал цифры и стал считать. Тамара двадцать лет назад, ещё до того как стать директором, преподавала историю, и за тридцать два года брака я выслушал за ужином больше лекций, чем иной студент исторического факультета. Например, я знал, что на Руси считали годы от сотворения мира, и чтобы получить нормальный год, надо отнять пять тысяч пятьсот восемь. Тамара говорила это каждый раз, когда я путался в датах, и добавляла: «Аркаша, это проще, чем твои откаты». Откатов у меня, кстати, никогда не было. Это была фигура речи.

— А жалованье у тебя какое? — спросил я Кондрата. Он назвал сумму. Я машинально попытался пересчитать её в месячный оклад, вспомнил про налоги и осёкся. В этой стране налоговую декларацию, кажется, подавали прямо государю. Главное — не ошибиться в графе «чем недоволен».

Семь тысяч шестьдесят один минус пять тысяч пятьсот восемь. Я посчитал два раза, второй раз в тетради, столбиком. Получилось тысяча пятьсот пятьдесят третий. Август.

Иван Васильевич, получается, молодой. Тамара рассказывала, что венчался он на царство в шестнадцать лет. Значит, ему сейчас двадцать три. Казань он взял осенью прошлого года. Опричнины ещё нет, до неё больше десяти лет. Царица Анастасия жива. Это я тоже помнил, потому что Тамара говорила, что при Анастасии он был ещё «более-менее», а потом уже «менее-менее». Это, конечно, не научная формулировка, но я её запомнил лучше, чем все даты.

Двадцать три года. Моложе Станислава.

Эта мысль меня почему-то немного успокоила. С молодыми начальниками я работать умею. Молодой начальник хочет, чтобы его уважали, боится, что его не уважают, и поэтому кричит чаще, чем надо. Старый начальник кричит реже, но попадает точнее.

— Ты чего побледнел? — спросил Кондрат.

— Давление, — сказал я.

— Кто давит? — Кондрат грозно огляделся по сторонам и положил руку на топор.

— Изнутри давит. Годы.

— А, — сказал Кондрат с облегчением. — Это у всех. У меня тоже давит, когда Улита говорит: «Опять девка». Ты есть хочешь?

Я хотел. Торт на пикнике я так и не доел, а с тех пор прошло, если считать по Тамариной формуле, около четырёхсот семидесяти трёх лет. Кондрат порылся в седельной сумке и протянул мне кусок ржаного хлеба и луковицу. Я съел и то, и другое. Хлеб был кислый, тяжёлый, вкусный. Лук был злой.

Тут над нами захлопали крылья.

Я поднял голову, и в тот же миг мне на макушку опустилось что-то тяжёлое, когтистое и недовольное. Я замер. Кондрат замер. Лошадь Кондрата отступила на шаг, а потом на всякий случай ещё на два.

— Не шевелись, — сказал Кондрат шёпотом. — Ключник, богом прошу, не шевелись. Это государев сокол.

Я не шевелился. Когти держали меня крепко, но аккуратно, не впиваясь, примерно как держит руку опытный стоматолог. Птица переступила с лапы на лапу, повертелась, устроилась поудобнее и, судя по звуку, принялась чистить перья. Сверху на нос мне упало маленькое пёрышко.

На макушке у меня, должен сказать, уже лет десять как просторно. Тамара называет это «вертолётная площадка». Видимо, площадка оказалась удобной.

— Шалый, — раздался сверху, с края оврага, звонкий девичий голос. — Шалый, ах ты пёс ты пернатый! Ты куда сел?!

По склону, цепляясь за ветки, спускалась девушка. Лет восемнадцати, в длинном синем сарафане, подоткнутом за пояс, чтобы не мешал бежать, с толстой русой косой и с кожаной рукавицей на левой руке. Лицо у неё было красное от бега, а глаза злые и весёлые одновременно, как бывает у людей, которые очень испугались, а теперь уже не боятся.

Она остановилась в трёх шагах, увидела меня, увидела сокола на моей голове, и вдруг согнулась пополам и захохотала. Хохотала она громко, звонко, от души, хлопала себя рукавицей по колену и никак не могла остановиться.

— Марьяша, — укоризненно сказал Кондрат, — ты чего ржёшь, как кобыла? Человек в беде.

— Ой, не могу, — выговорила Марьяша сквозь смех. — Ой, Кондрат Ермилыч, глянь! Сидит! На лысине сидит! Он его за пень принял! Мы его с утра всем двором ищем, батюшка уже исповедоваться пошёл, а он на лысине у какого-то… А ты кто? — спросила она меня, вдруг перестав смеяться.

— Аркадий, — сказал я, стараясь не кивать. — Степанович. Очень приятно.

Сокол на моей голове переступил. Я сказал «ой». Марьяша снова прыснула.

— Сейчас, — сказала она и подошла ближе. — Не шевели головой, дяденька Аркадий. Шалый, Шалый, иди, родненький, иди, золотенький…

Она вытянула руку в рукавице и тихонько посвистела. Когти на моей голове разжались. Сокол перешёл к ней на рукавицу. Я впервые увидел его как следует. Большой, серо-белый, с тёмными крапинками, с жёлтыми глазами, которые смотрели на меня так, как смотрел однажды

на совещании финансовый директор, когда я принёс ему смету на банкет. Очень пристально и с явным расчётом.

— Это кречет, — сказала Марьяша гордо. — Государев. Самый лучший. Его с Печоры привезли. Батюшка его два года учил. А сегодня на охоте он погнался за цаплей, цаплю не взял, а сам улетел, и не вернулся, и государь… — она вдруг сникла. — Государь сильно гневался. Батюшку моего при всех… Сказал, если к вечеру не будет кречета, то батюшке больше соколов не видать. И сам ускакал. А мы ищем.

— Ваш батюшка сокольник? — спросил я.

— Тимофей Голубев, — сказала Марьяша. — Государев сокольник. Лучший. А я ему помогаю. А ты как его поймал? Его никто не может подозвать, кроме батюшки и меня. Ты что, колдун?

Последнее слово она сказала легко, со смехом, но Кондрат при нём перекрестился, а я понял, что это слово мне здесь нужно запомнить и обходить стороной, как открытый люк.

— Не колдун, — сказал я. — Лысый. На лысине блестит. Он, наверное, принял её за озеро.

Марьяша посмотрела на мою макушку, оценила и снова засмеялась. Кондрат тоже засмеялся, сначала осторожно, а потом в полную силу. Я посмеялся вместе с ними. Есть правило, которое я не записывал в свой список, потому что оно слишком очевидное: если над тобой смеются, смейся вместе со всеми. Тогда это уже не над тобой.

Наверху, за краем оврага, загудел рог. Потом второй. Потом застучали копыта, много копыт, залаяли собаки, и кто-то закричал: «Едет! Едет!»

Кондрат перестал смеяться так резко, будто ему отключили звук.

— Государь, — сказал он. — Вернулся. Ключник, пошли. Марьяша, неси птицу. Быстро.

Мы поднялись наверх. Я поднимался последним и медленно, потому что склон был крутой, а мне пятьдесят семь лет и колено. Наверху открылось Коломенское. Совсем не то, из которого я уходил час назад.

Дворца, деревянного, огромного, многоэтажного, пока не было. Был двор, обнесённый высоким частоколом. Внутри стояли бревенчатые терема с крутыми крышами, крытыми тёсом, с резными крыльцами, с галереями-переходами, с маленькими окошками, затянутыми, как я потом узнал, слюдой. Пахло хлебом, дымом, конским потом. Над рекой стояла белая церковь Вознесения, острая, как карандаш, и на её фоне всё остальное казалось ниже и проще. У ворот толпился народ: стрельцы в красных и зелёных кафтанах, конюхи, какие-то люди в длинных одеждах до пят, собаки, гуси и одна корова, которая, по-моему, попала сюда случайно и сама этого стеснялась.

В ворота въезжали всадники. Человек двадцать, на хороших конях, в богатой одежде, с соколами на руках. Впереди ехал один. Не самый нарядный и не самый большой, но я сразу понял, что это он. Не по шапке и не по коню. По тому, как стихло всё вокруг, когда он въехал. Даже гуси замолчали. Даже корова.

Он был высокий и худой. Длинное лицо, нос с горбинкой, рыжеватая негустая бородка, быстрые светлые глаза, которые не смотрели на что-нибудь одно, а всё время двигались, перебегали с лица на лицо, будто он кого-то пересчитывал и всё время сбивался. Одет он был просто, для охоты: тёмный кафтан, шапка с соболем. На левой руке у него была рукавица, но сокола на ней не было.

Двадцать три года, подумал я. Мальчишка. И весь двор стоит, не дыша.

Молодой царь спрыгнул с коня, не дожидаясь, пока ему подставят стремя, и сразу пошёл через двор. Шёл быстро, широко, и все расступались. Возле крыльца стоял человек лет пятидесяти, в сером кафтане, с проседью в бороде, с лицом таким белым, что казалось, его посыпали мукой. Он стоял на коленях. Рядом с ним на земле лежала пустая сокольничья рукавица.

— Батюшка, — шепнула Марьяша рядом со мной и прижала сокола к груди.

— Ну? — сказал царь. Голос у него был высокий и неожиданно звонкий, совсем не такой, какой я представлял. — Ну, Тимоха? Где мой кречет? Солнце садится.

Тимофей Голубев хотел что-то сказать и не смог.

— Я тебе что сказал? — продолжал царь, и голос его поднимался всё выше. — Я тебе при всех сказал. Я царь или кто? Я слово дал или не дал? Мне что, слово назад брать? Перед всеми? Из-за птицы?!

Я знал этот тон. Я слышал его сотни раз. Это не гнев. Это загнанный в угол человек, который сказал лишнее при свидетелях и теперь не знает, как отыграть назад, не потеряв лица. Гроздев так однажды при всех пообещал уволить прораба, если к утру не будет бетона, а бетон пришёл в девять пятнадцать, и Гроздев полдня ходил по объекту злой, потому что прораба увольнять не хотел, а слово дал. Я тогда подошёл и сказал ему, что бетон, строго говоря, пришёл утром, а утро у нас до полудня. Он посмотрел на меня как на сумасшедшего, а потом сказал прорабу: «Скажи спасибо Кочкину». С тех пор мы, собственно, и работаем.

Марьяша сделала шаг вперёд, но я её опередил.

Я и сейчас не очень понимаю, почему. Наверное, привычка. Тридцать лет я выходил вперёд, когда клиент начинал кричать на кого-нибудь из наших. Монтажник напортачил, водитель опоздал, бухгалтерия перепутала счёт, а получать всё равно выхожу я. Потому что я умею. Потому что меня не жалко. Потому что на мне это не застревает.

В Москве холодный звонок обычно заканчивался словами «нам ничего не нужно». Здесь после такого звонка могли принести верёвку. Я решил, что отделу продаж в шестнадцатом веке явно не помешало бы корпоративное обучение.

Я вышел на середину двора, снял с головы воображаемую шапку, потому что настоящей у меня не было, и поклонился. Не в пояс, как, наверное, полагалось, а так, как кланяются на деловых переговорах в Японии, куда я ездил в две тысячи восьмом году продавать эскалаторы и ничего не продал, но поклонам научился.

— Иван Васильевич, — сказал я громко и спокойно. — Добрый вечер. Кречет нашёлся.

Стало очень тихо. Даже тише, чем было.

Кондрат за моей спиной издал звук, который, наверное, издаёт человек, когда видит, как его новый знакомый добровольно заходит в клетку к медведю. Марьяша ойкнула. А царь медленно повернулся ко мне. Его быстрые глаза наконец остановились. На мне.

— Ты кто? — спросил он.

Я тридцать лет занимался холодными звонками. Обычно на том конце провода хотя бы не держали топор. Здесь провода не было, зато топоров хватало.

Правило оставалось прежним: прежде чем просить о своём, сообщи собеседнику хорошую новость. Особенно если собеседник может велеть отрубить тебе голову.

— Кречет нашёлся, государь, — повторил я. — Он не улетел, он в овраге был. Сел мне на голову. Девица его сняла, дочь сокольника. Тимофей Голубев свою птицу хорошо выучил. Она домой вернулась. Просто не к нему, а ко мне. Перепутала немного.

Марьяша подошла и встала рядом со мной, держа сокола. Шалый посмотрел на царя жёлтым глазом и что-то пискнул. Это было похоже на «извините».

Царь переводил взгляд с кречета на Марьяшу, с Марьяши на мою лысину. Я почти слышал, как в его голове решается непростая задача: птица вернулась, сокольник жив, а незнакомца, похоже, пока казнить не за что.

— На голову сел? — спросил он.

— Так точно.

— Почему на голову?

— Блестит, государь, — сказал я и показал на макушку. — Кречет, видать, решил, что перед ним пруд. Только пруд этот уже лет десять как пересох.

Тишина продержалась ещё секунды три. А потом царь Иван Васильевич, двадцати трёх лет от роду, взявший Казань и венчанный на царство, запрокинул голову и захохотал. Так же звонко и громко, как Марьяша в овраге, по-мальчишески. За ним засмеялись те, кто стоял рядом. Потом те, кто стоял дальше. Потом засмеялся весь двор, даже стрельцы, даже конюхи, а корова протяжно замычала.

— Тимоха, — сказал царь, вытирая глаза рукавицей. — Встань. Встань, дурак. Слово моё было до заката. А до заката ещё вон сколько. Бери свою птицу. Птица умнее тебя: нашла самое блестящее место в Коломенском и туда села. Встань!

Тимофей Голубев поднялся. Ноги у него дрожали. Марьяша подбежала к нему, отдала сокола, и он взял птицу на руку так бережно, как берут младенца, и что-то зашептал ей, гладя перья. Мне он не сказал ни слова. Только посмотрел. Но так посмотрел, что я понял: этот человек меня запомнил навсегда.

А царь повернулся ко мне и нахмурился:

— А шапка твоя где?

— Шапку, государь, потерял при перемещении, — сказал я.

— При каком ещё перемещении?

— Между службами, государь. Меня послали в одну, а вышел я в другую. У нас за такое сперва виноватого ищут, потом бумагу пишут. Иногда виноватого не находят, а бумагу всё равно пишут.

Царь прищурился. Я мысленно вычеркнул из списка безопасных слов «служба» и «бумага». Второе, похоже, было здесь даже опаснее первого.

— Теперь ты, — сказал он. Смех у него из голоса ушёл так же быстро, как пришёл. — Ты кто такой? Откуда в моём овраге? Почему без шапки? Что это у тебя на шее? Почему кафтан короткий? Говори.

Пять вопросов подряд. Классический клиент, который проверяет, не будешь ли ты юлить. Я знал главное правило таких разговоров: отвечать по порядку и коротко. Не оправдываться. Не врать. Врать здесь, я это чувствовал кожей, будет хуже, чем у Гроздева. Гроздев за враньё уходил к конкурентам. Здесь конкурентов не было.

Но и всей правды я сказать не мог. Если я скажу двадцатитрёхлетнему царю шестнадцатого века, что пришёл из двадцать первого, через туман, из оврага, меня либо сочтут сумасшедшим, либо колдуном. Сумасшедшим, может, ещё ничего. Колдуном не надо.

Значит, говорить правду, но не всю. Это в продажах называется «правильно расставить акценты».

— Аркадий, Степанов сын, Кочкин, — сказал я. — Москвич. Родился на Ордынке, за рекой, в Замоскворечье. Служил по торговой части. Последние тридцать лет занимался связями: связывал тех, кому что-то нужно, с теми, у кого это есть. Шапку потерял, когда упал в овраг. Кафтан короткий, потому что так у нас носят. На шее грамота моя, с именем и чином.

Царь протянул руку. Я снял бейджик и отдал. Он рассматривал его долго, вертел, щупал пластик, смотрел на свет, особенно долго разглядывал фотографию.

— Лицо, — сказал он. — Твоё лицо. Как живое. Кто писал?

— Мастер один, — сказал я. — Иконописец по лицам. Быстро пишет.

— Плохо пишет, — сказал царь. — Ты тут как с похмелья.

Он был прав. Фотографию делали в понедельник после корпоратива.

Он прочитал вслух, легко, без запинки, не по слогам, как Кондрат. Он вообще, видимо, читал много и быстро.

— «Подъёмник». Что за подъёмник?

— Дело наше так называется. Мы людей поднимаем. Наверх. На высокие этажи.

— Как поднимаете?

— Ящиками. На верёвках. Ворот крутится, ящик едет.

Царь подумал. Глаза у него снова забегали, но теперь иначе, не тревожно, а с интересом.

— Как в монастырях на стены, — сказал он. — Корзиной. Знаю. А «менеджер» что такое?

— Это на чужой манер, — сказал я. — По-нашему управитель. Приказчик.

— «По ключевым клиентам», — прочёл царь и поднял бровь. — Ключник, что ли?

— Почти, государь. Ключевые, это значит самые главные. Самые важные люди. Которые больше всех платят и больше всех требуют. Таких немного. Вот с ними я и работал. Чтобы были довольны и не уходили.

— Самые важные люди, — медленно повторил царь. — И чего они от тебя хотели?

— Всего, — сказал я честно. — И сразу. И чтобы дёшево. И чтобы быстро. А когда сделаешь — спрашивают, отчего так дорого и почему так долго. Мне иногда казалось, что они заранее готовят оба вопроса.

Кто-то из свиты за спиной царя хрюкнул, пытаясь удержать смех. Царь покосился туда, и смех прекратился сам собой, будто его не было. Но угол рта у самого царя дрогнул.

— А если гневались? — спросил он. — Самые важные. Если на тебя гневались, тогда что?

— Тогда я записывал, на что гневаются, — сказал я и показал тетрадь. — И приходил на другой день. На другой день гнев обычно проходит, а дело остаётся. Дело можно сделать.

— А если на другой день тоже гневались?

— Тогда приходил на третий.

— А если тебя вовсе прогоняли?

— Тогда, государь, через неделю звали обратно. Другие-то к ним приходили один раз. А я уже знал, с какой стороны у них дверь и в какую минуту лучше не входить.

Царь Иван Васильевич долго смотрел на меня. Потом, не оборачиваясь, обратился к свите:

— Слышали? Вот как служить надобно. А вы от одного моего слова прячетесь. Этот, выходит, и на третий день пришёл бы.

Свита смотрела в землю. Мне захотелось уточнить, что третьего дня я никому не обещал.

Похоже, я только что нажил себе человек двадцать недоброжелателей. Я мысленно записал это в тетрадь на будущее.

Царь протянул мне бейджик обратно. Я взял его и надел на шею. Он смотрел, как я это делаю, внимательно, будто запоминал.

— Говоришь ты чудно, — сказал он. — Слова вроде наши, а складываешь их не по-нашему. «Добрый вечер» говоришь. Кто так говорит? Так немцы говорят. Ты не немец?

— Нет, государь. Русский.

— Ты из Литвы? С Литвы бежал?

— Нет. Из Москвы. С Ордынки.

— На Ордынке я тебя не видал.

— На Ордынке, государь, народу много, — ответил я. — А я, признаться, старался царям на глаза не попадаться. До нынешнего дня получалось.

Кондрат за моей спиной шумно втянул воздух. Кажется, я опять сказал лишнее. Но царь неожиданно усмехнулся: похоже, осторожность москвичей он считал не худшим их достоинством.

Есть момент, когда клиент решает, обидеться ему или засмеяться. Длится он не больше секунды. Если в эту секунду ты отводишь глаза, клиент обижается. Если смотришь нагло, обижается тоже. А если смотришь спокойно и чуть виновато, как человек, который сказал лишнее, но не испугался, у тебя есть шанс.

Я не отвёл глаз. И вдруг вспомнил Соню: как она загадывала желание, чтобы дедушка никогда не уходил на работу в субботу.

— Язык у тебя длинный, — сказал царь и вдруг усмехнулся одной стороной рта. — А ты, Аркадий Степанов, язык свой бережёшь? Или он у тебя сам по себе?

— Он у меня, государь, тридцать лет на службе. Устал. Иногда сам по себе.

— Устал, — сказал царь. — Ну смотри. У меня тут языки быстро отдыхают.

Сказано это было легко, почти весело. Но я почувствовал, как у меня по спине прошёл тот самый холод, который был в овраге перед туманом.

Царь повернулся к своим.

— Кто тут у нас? — спросил он. — Кто от Висковатого?

Из толпы выдвинулся молодой человек лет девятнадцати, худой, длинный, с цыплячьей шеей, с чернильным пятном на пальцах и в сером подьяческом кафтане, который был ему велик в плечах. Он кланялся так часто и так низко, будто пытался поднять что-то с земли и всё время промахивался.

— Я, государь. Гурий Ершов. Толмач. От Ивана Михайловича.

— Гурий, — сказал царь. — Возьми этого. Отвези к Висковатому. Скажи, я велел разобрать: что за человек, откуда, чей. Если лазутчик, сам знает, что делать. Если дурак, пусть отпустит. Если умный… — он помолчал и посмотрел на меня ещё раз, быстро, с головы до ног. — Если умный, пусть оставит. Мне умные нужны. Только умные, которые служат, а не умничают.

— Слушаю, государь.

— А тебя, — царь повернулся к Кондрату, который стоял рядом со мной и, кажется, пытался стать меньше ростом, — тебя как звать?

— Кондрат Ухватов, государь! Десятник стрелецкий!

— Ты его нашёл?

— Я, государь!

— Вот и отвечаешь за него. Пока Висковатый не разберёт, он при тебе. Сбежит, с тебя спрошу.

— Не сбежит, государь! — Кондрат грохнул себя кулаком в грудь так, что у меня зазвенело в ушах. — У меня от меня никто не бегает! Жена вон двадцать лет не сбежала!

Двор засмеялся. Царь тоже чуть улыбнулся, махнул рукой и пошёл к крыльцу. На ступенях он остановился и обернулся.

— Аркадий Степанов, — сказал он. — А что ты сделал бы, если бы кречет на тебя не сел?

Я подумал секунду. Врать было нельзя, а правда была смешная.

— Позвонил бы, государь. Вашему сокольнику. Сказал бы, где видел птицу.

— «Позвонил»? В колокол, что ли?

— Почти, государь. Почти что в колокол.

Он задержал на мне взгляд, будто хотел спросить ещё что-то, но передумал и ушёл в терем. За ним, как вода в воронку, потянулась свита.

Двор снова зашумел, загоготали гуси, замычала корова. Я стоял посреди двора и чувствовал, что колени снова собираются уволиться без отработки. Ко мне подошли трое. Кондрат положил мне на плечо руку, тяжёлую, как мешок с цементом. Гурий Ершов поклонился так, что чуть не упал. А Марьяша, вернувшись от отца, сунула мне в руку что-то маленькое и тёплое.

Это было яблоко. Красное, крепкое, коломенское.

— Это тебе от батюшки, — сказала она. — Он сам сказать не может. Он с людьми не умеет, только с птицами. Он сказал: «Передай лысому, что Голубевы ему должны». А я от себя скажу: ты, дяденька, или очень смелый, или очень глупый. Я ещё не поняла.

— Я тоже ещё не понял, — сказал я.

Она засмеялась и убежала к отцу. Гурий проводил её взглядом, долгим, грустным и совершенно безнадёжным. Я этот взгляд хорошо знаю. Я сам так смотрел на Тамару целый год, пока не решился пригласить её в кино на «Кин-дза-дза».

— Нравится? — спросил я Гурия.

Он вздрогнул, покраснел до ушей и поклонился мне так же, как царю.

— Кто? Я? Ничего мне не нравится. Я толмач. Мне Висковатый велел латынь учить, и немецкую грамоту, и голландскую. Мне нравиться некогда.

Я достал тетрадь. Записал: «Гурий Ершов, 19, толмач. Марьяша Голубева, 18, дочь сокольника, смеётся. Безнадёжно. Пока».

Кондрат заглянул мне через плечо.

— Опять пишешь? — спросил он.

— Пишу.

— Про что?

— Про клиентов, — сказал я. — Про ключевых. Сегодня у меня их много добавилось.

Я ещё раз посмотрел на крыльцо, за которым скрылся молодой царь. Где-то там, в двадцать первом веке, на дне рождения внучки, наверное, уже доели торт, и Тамара смотрит на часы и сердится. А Гроздев ждёт ответа про упавшую кабину и тоже сердится. А здесь, в тысяча пятьсот пятьдесят третьем, двадцатитрёхлетний самодержец всея Руси только что взял меня, если говорить языком моей профессии, на испытательный срок без оформления. Без трудового договора, без соцпакета и с очень своеобразными условиями расторжения.

Ну что ж, подумал я. Самый ключевой клиент в моей жизни. Тридцать лет готовился.

— Поехали, — сказал Кондрат и подсадил меня на свою лошадь, как мешок с мукой. — В Москву. Там разберутся.

Лошадь посмотрела на меня через плечо. В её взгляде было всё то же, что у трясогузки, у жабы Лёвы и у финансового директора. Похоже, здесь все сначала смотрят на меня так.

Ничего, подумал я. Я тридцать лет работаю с теми, кто так смотрит.

Глава 3. Должностная инструкция

До Москвы мы ехали три часа. По моим меркам это было недалеко: от Коломенского до Кремля на машине минут двадцать без пробок. Правда, в Москве без пробок ездят только во сне и первого января. Но в тысяча пятьсот пятьдесят третьем году пробки, как выяснилось, тоже были. Только из телег.

Сначала нас обогнал обоз с сеном. Потом мы обогнали обоз с дровами. Потом обоз с дровами встал, потому что у переднего воза отвалилось колесо, и все двадцать возов, а заодно и мы, полчаса стояли посреди дороги, пока мужики ставили колесо обратно и ругались. Ругались они, кстати, почти теми же словами, что московские таксисты. Я отметил это с каким-то тёплым чувством. Язык меняется, а суть остаётся.

Обоз с дровами наконец тронулся, но тут же встал снова. Возница объяснил: впереди застряла телега с капустой. Я оглядел дорогу и впервые за день почувствовал себя дома. Москва, час пик: никто никуда не едет, а виноват непременно кто-то впереди.

Потом из-за поворота вышли скоморохи. Трое, в пёстрых лоскутных кафтанах, с гудком, с бубном и с медведем на цепи. Медведь был большой, бурый, с обиженной мордой, и ему, как мне показалось, давно надоело плясать за еду. Увидев лошадь Кондрата, он встал на задние лапы и пошёл прямо к нам. Лошадь сказала что-то короткое и решительное, прыгнула вбок, и я, как мешок с мукой, слетел с крупа прямо медведю под ноги. Мы оказались нос к носу. Медведь понюхал мой бейджик. Потом понюхал карман пиджака, где лежали две офисные сушки от Любы Зайцевой. Я понял, что передо мной клиент, который точно знает, чего хочет, и что спорить с ним невыгодно. Я медленно достал сушку и протянул. Медведь взял её губами, деликатно, словно ему вручали государеву грамоту, и захрустел. Я достал вторую. Медведь съел и её, сел на дорогу и посмотрел на меня с такой нежностью, с какой на меня не смотрел ни один генеральный директор. Скоморохи подбежали, дёрнули цепь и долго кланялись Кондрату. Старший из них, рыжий, с серьгой в ухе, сказал, что Потапыч к чужим никогда не подходит, а меня, видать, признал за своего. Кондрат посмотрел на мою лысину, на мои усы и сказал, что ничего удивительного. Я записал в тетрадь: «Медведь. Две сушки. Сделка закрыта без потерь». Гурий, который всё это время сидел на своей кобылке белый как мел, сказал, что в Посольском приказе такому не учат. Я сказал, что в Посольском приказе ещё много чему не учат.

Кондрат снова подсадил меня в седло. Я вцепился в переднюю луку, а он пошёл рядом, держа повод. По дороге он рассказывал про дочерей. Старшую звали Дуняша, ей было шестнадцать, и она, по словам отца, «уже засматривалась». Вторая, Фёкла, пекла лучшие пироги в слободе. Третья, Анисья, всё время пела. Четвёртая, Пелагея, дралась с мальчишками и всегда побеждала: «Одна в меня пошла, а толку, девка». А младшая, трёхлетняя Глашка, была, по словам Кондрата, «сущий воевода».

Я попытался выяснить, кому здесь положено согласовывать решения. Оказалось, государю. А кто согласовывает решения государя? На этот вопрос мне посоветовали не искать ответа вслух. Московская система управления была проще нашей, но служба поддержки работала заметно суровее.

— А жена? — спросил я.

Кондрат вздохнул так тяжело, что лошадь оглянулась: не случилось ли чего с седоком.

— Улита, — сказал он с уважением. — Это не жена. Это государство.

Тут я окончательно понял: мы с ним подружимся.

Рядом с нами на тощей гнедой кобылке трусил Гурий Ершов. Кобылка была тощая, Гурий тоже, и вместе они выглядели как вешалка, которую посадили на другую вешалку. Гурий всю дорогу молчал, только иногда что-то шептал. Сначала я подумал, что молится. Потом прислушался. Он повторял: «Гуд дэй, гуд дэй, хау ду ю ду, хау ду ю ду».

— Это что такое? — спросил я.

Гурий вздрогнул и покраснел.

— Это… речь одна. Иноземная. Меня шкипер голландский учил, Ян. Он говорил, это так в аглицкой земле здороваются. Я голландский разумею малость, латынь разумею. А аглицкий только этот. Ян сказал, на всякий случай. Вдруг пригодится.

— Хау ду ю ду, — сказал я с видом знатока. — Правильно.

Гурий уставился на меня, как будто я заговорил по-ангельски.

— Ты это слово откуда взял? — прошептал Гурий.

— Из школы, — сказал я.

— Из какой земли школа?

— Из такой, где за неправильное произношение ставят двойку, а за правильное всё равно не понимают.

Гурий старательно повторил приветствие. Получилось так, словно он пытался чихнуть и в последний миг передумал.

— Прекрасно, — похвалил я. — Если англичанин не поймёт, сделаем вид, что это местный диалект.

— Ты… ты знаешь аглицкую речь?

Я подумал. Английский у меня был школьный, тройка с минусом, плюс тридцать лет бизнес-тренингов, на которых нас учили говорить «Let's touch base» и «It's a win-win situation». Для переговоров с англичанами набор, прямо скажем, сомнительный: я мог предложить им созвониться и найти взаимную выгоду, но не мог спросить, где у них корабль. Ещё я помнил, что «London is the capital of Great Britain», а также песню «Yesterday» целиком — пел её в армии под гитару, поскольку это было единственное, что у нас ловилось ночью без помех.

— Немного, — сказал я. — Самую малость.

— Скажи что-нибудь.

Я сказал: «Yesterday, all my troubles seemed so far away». Гурий слушал, открыв рот.

— Что это значит?

— Это значит: вчера все мои беды казались очень далёкими. Сегодня, как видишь, они приплыли на английском корабле.

Гурий выслушал меня и серьёзно кивнул.

— Мудро, — сказал он. — Это у них такая молитва?

— Почти, — сказал я. — У них молитвы длиннее, но смысл примерно тот же.

Москва открылась нам с холма, сразу вся. Я, коренной москвич, пятьдесят семь лет проживший в этом городе, смотрел на неё и не узнавал. И узнавал.

Река была та же. Изгиб тот же. Кремль на холме, на том же месте, красный, кирпичный, с зубцами, со знакомыми башнями, только башни были ниже и без шатров, тупые, приземистые, как сторожевые псы. А над всем этим поднималась белая колокольня Ивана Великого, и золотая её глава горела в закатном солнце так, что больно было смотреть. Вокруг Кремля во все стороны расползался город. Деревянный, бревенчатый, серо-бурый, утыканный, как ёж иголками, сотнями маленьких церквей. Над крышами висел дым. И над всем этим шёл звон. Звонили, кажется, все колокола сразу, к вечерне, вразнобой, кто басом, кто дискантом, и звон этот стоял над городом, как облако.

— Москва, — сказал Кондрат. Не мне, а так, самому себе. И перекрестился.

Я тоже перекрестился. Хотя не очень умею. Тамара умеет, она каждую Пасху ходит в храм на Ордынке, а я хожу с ней и держу свечки.

Ордынку я увидел с моста. Ту самую, на которой родился. Она была и не была. Дорога, широкая, пыльная, уходила на юг, к Серпухову, по обеим сторонам стояли дворы, сады, заборы, церквушки. Где-то здесь, наверное, через четыреста лет построят наш дом, и в нём будет коммуналка, и мама будет мыть там пол в очередь. А пока здесь росла капуста.

Я записал: «Ордынка. Капуста». И мне стало почему-то очень грустно и очень смешно сразу.

Висковатый принял меня на следующее утро.

Ночевал я у Кондрата, в стрелецкой слободе. Улита, его жена, встретила нас в воротах. Она была маленькая, круглая и твёрдая, как кочан, с острыми чёрными глазами и с голосом, который, наверное, слышали на другом берегу Москвы-реки. Она посмотрела на меня, на мои ботинки, на мой пиджак, на мой бейджик, на Кондрата, снова на меня, и спросила:

— Это кто?

— Государь велел, — сказал Кондрат. — Ключник. Аркадий.

— Государь велел, — повторила Улита, как будто пробовала эти слова на вкус. — А кормить его тоже государь будет?

— Улитушка…

— Я спрашиваю. Кто будет кормить. У меня пятеро ртов, шестой ты, седьмой этот.

Передо мной был ещё один ключевой клиент. Только работать с ним надо было иначе, чем с царём. Царь хотел, чтобы его уважали. Улита хотела, чтобы её не обманывали.

— Улита… — я запнулся.

— Мартемьяновна, — подсказал Кондрат шёпотом.

— Улита Мартемьяновна, — сказал я. — Есть я буду мало, мне врач не велит. Спать могу где угодно. А по хозяйству могу пригодиться. Я считать умею. Писать умею. Дров, правда, рубить не умею, но научусь. И ещё я хорошо слушаю.

— Слушаешь? — Улита прищурилась. — Это как?

— Ну вот вы, наверное, весь день с пятью девками, с хозяйством, с мужем, который на службе. И вас, наверное, никто не слушает.

Улита посмотрела на меня долго и подозрительно. Потом посмотрела на Кондрата. Кондрат смотрел в небо.

— Заходи, — сказала она наконец. — Щи есть. Вчерашние. Спать будешь в повалуше. Девки, не пялиться! Это гость!

Пять девок выглядывали из всех окон и дверей сразу, как кукушки из часов. Младшая, Глашка, подошла ко мне вплотную, внимательно посмотрела на бейджик и сказала:

— Дед, ты лысый.

— Лысый, — согласился я.

— А почему?

— Мне на голову сокол садился.

Глашка подумала и с уважением отошла.

Щи были вчерашние, кислые, с капустой и с тем самым ржаным хлебом, и это были лучшие щи в моей жизни. Я съел две миски. Улита смотрела, как я ем, и, кажется, немного оттаяла. Потом я весь вечер слушал её. Про соседку Фетинью, у которой корова даёт больше молока, потому что Фетинья ворожит. Про то, что жалованье стрельцам обещали к Покрову, а Покров был ещё в прошлом году. Про то, что Дуняше уже шестнадцать, а приданого нет, а Фёкла за ней следом, и Анисья, и Пелагея, и Глашка, и как их всех выдавать, если отец только и знает, что свечки ставить Флору и Лавру. Я слушал, кивал, иногда записывал. Кондрат сидел в углу и смотрел на нас с изумлением, как на двух говорящих медведей. Под конец Улита сказала:

— Ты, Аркадий Степаныч, хоть и чудной, а человек. Оставайся.

На следующее утро, уже в Кремле, Кондрат передал меня Гурию, а Гурий повёл меня в Посольскую избу.

Я искал глазами табличку «Приём граждан по предварительной записи». Таблички не было. Зато был человек с бердышом, который объяснял порядок приёма гораздо доходчивее любого электронного талончика. У нас в офисе за такой сервис поставили бы одну звезду. Здесь за одну звезду могли отправить в монастырь.

Посольская изба стояла в Кремле, недалеко от соборов, и избой называлась, по-моему, только из скромности. Это было длинное бревенчатое здание с высоким крыльцом, с несколькими палатами, в которых сидели подьячие. Сидели они так, как сидят в любом офисе любого века: склонившись над столами, с перьями за ухом, с кислыми лицами, и все одновременно делали вид, что очень заняты, и при этом успевали проследить, кто пришёл и зачем. Пахло чернилами, воском, сургучом, кислой капустой и чьими-то сапогами. Я вдохнул этот запах и почувствовал себя дома. Офис есть офис.

Сходство оказалось даже большим, чем я думал. Ровно в тот момент, когда мы вошли, у дальней стены началась планёрка. Пожилой подьячий с бородой клином стоял посреди палаты и читал вслух, кто вчера сколько грамот переписал. Остальные слушали стоя, переминаясь, и у каждого на лице было то самое выражение, с каким у нас в «Подъёмнике» слушали по понедельникам отчёт о продажах. Один, молоденький, в углу, явно дремал с открытыми глазами. Я узнал этот навык. Сам им владею с девяносто четвёртого года.

— А это у вас что? — шёпотом спросил я Гурия.

— Сказка, — шёпотом ответил Гурий. — Кто что сделал. Каждое утро. Иван Михайлович велел. Чтоб не ленились.

— А долго?

— Пока не дочитают. Иногда до обеда.

Я подумал, что если бы предложил им сократить планёрку до пятнадцати минут и проводить её стоя, меня бы тут же провозгласили святым. Но для начала решил не высовываться. В новом коллективе первый месяц надо молчать, улыбаться и запоминать, кто кому носит пирожки.

Дьяк Иван Михайлович Висковатый сидел в самой дальней палате, за столом, заваленным бумагами. Бумаги лежали стопками, свитками, связками, в коробах и просто кучами, а сам Висковатый сидел среди них, как полководец среди войска, и читал. Читал он, держа лист на вытянутой руке, щурясь и шевеля губами. Я сразу понял почему. Я сам так читал, пока Тамара не заставила меня купить очки.

— Ты грамоте обучен? — спросил дьяк.

— Обучен. Только у нас письма принято сначала разбирать по срочности.

— А как узнать, какое срочное?

— По тому, кто громче кричит, Иван Михайлович. Но это плохая система: самые важные обычно молчат.

Это был человек лет сорока пяти или пятидесяти, с умным, худым, усталым лицом, с длинной седеющей бородой и с тонкими, очень белыми руками. Одет он был просто, но всё на нём сидело так, что сразу было видно: денег у него много, а тратить их на красоту он не любит. Когда мы вошли, он не поднял головы. Дочитал лист до конца, положил его на одну стопку, взял другой, отправил на соседнюю — и лишь тогда поднял глаза.

Я этот приём знаю. Так делают все начальники, которые хотят показать, что ты здесь не главный. Самое правильное в этой ситуации стоять спокойно и не переминаться с ноги на ногу. Я стоял спокойно. Колено ныло.

— Ты и есть тот, кто вернул кречета, — сказал Висковатый. Вопроса в его голосе не было.

— Не вернул. Кречет сам вернулся. Я просто не помешал.

— Государь велел разобрать, что ты за человек. — Висковатый откинулся на спинку лавки. — Я человек занятой. У меня тут, — он обвёл рукой бумаги, — грамоты из Литвы, из Крыма, из Ногайской орды, от шведского короля и от астраханского хана. Мне разбирать тебя некогда. Поэтому я спрошу тебя один раз. Ты ответишь один раз. Если совру я тебе, Бог меня накажет. Если соврёшь ты, накажу я. Откуда ты?

Вопрос оказался точным и, главное, честным. Я понял, что этому человеку врать нельзя совсем, даже в акцентах. Он тридцать лет слушал враньё иностранных послов и умел различать его оттенки.

— Иван Михайлович, — сказал я. — Я отвечу честно. Но вы мне не поверите.

— Это моя забота, верить или нет.

— Я из Москвы. Но не из этой. Из той, которая будет через много лет. Я вчера был в Коломенском, на дне рождения внучки, пошёл в овраг, там был туман, я вышел из тумана, и оказался здесь.

Висковатый смотрел на меня, не мигая. Гурий за моей спиной тихонько охнул и, судя по шороху, перекрестился несколько раз подряд.

— Через сколько лет? — спросил Висковатый.

— Через четыреста семьдесят три.

— Чем докажешь?

Я подумал. Телефон показывать было рано. Пузыри тоже. Бейджик он видел, наверное, в пересказе. А что ещё у меня есть?

У меня были очки.

Очки висели у меня на шнурке на груди, под пиджаком, как у всех мужчин моего возраста, которые устали их терять. Обычные очки для чтения, плюс два с половиной, в тонкой металлической оправе, купленные в переходе на Октябрьской за шестьсот рублей.

Я снял их со шнурка, протёр краем рубашки и протянул Висковатому.

— Наденьте, — сказал я. — Вот так, дужки за уши. И посмотрите на любую грамоту.

Висковатый посмотрел на очки с подозрением. Повертел их в пальцах. Потом всё-таки надел, неловко, криво. И взял со стола первый попавшийся лист.

Я знал этот взгляд. Человек впервые надел очки и обнаружил, что мир не размыт от рождения. Сначала удивление, потом восторг, а следом подозрение: сколько лет от него скрывали мелкий шрифт?

Лицо Висковатого изменилось именно так. Он поднёс лист к глазам, отодвинул, снова поднёс. Снял очки, посмотрел без них. Снова надел.

— Буквы, — сказал он тихо. — Буквы видно. Даже те, которые писец от меня спрятать старался.

— Писец, Иван Михайлович, скорее всего, не старался. Просто мелко пишет. У нас с такими сначала спорят, а потом покупают очки.

— Как у отрока видно. Как двадцать лет назад.

— Плюс два с половиной, — сказал я. — Вам, может, и плюс два хватило бы, но других у меня нет.

Висковатый не ответил. Он читал. Он прочёл лист, потом следующий, потом ещё один. Он читал минут пять, и мы с Гурием стояли и молчали. Потом он снял очки, положил их перед собой на стол и долго на них смотрел.

В должностной инструкции не хватало одной строки: «В случае недовольства непосредственного руководителя сохранять спокойствие, голову и, по возможности, место её крепления». Последний пункт я подчеркнул бы дважды.

— Стекло, — сказал он. — Венецианское?

— Нет. Наше. Московское. Только будущее.

— Такого стекла нигде нет, — сказал Висковатый. — Я видел очки у фряжских послов. Толстые, мутные, в роговой оправе, на нос сажают. Через них видно, как через воду. А это… — он покачал головой. — Ты говоришь, через четыреста лет.

— Через четыреста семьдесят три. Такие очки там на каждом углу продают. За гроши.

Висковатый поднял на меня долгий, тяжёлый взгляд.

— Значит, так, Аркадий Степанов, — сказал он. — Я не знаю, правду ты говоришь или нет. Может, ты сумасшедший. Может, ты чародей. Может, ты фряжский лазутчик, которому дали хитрые стёкла. Но государю я скажу вот что. — Он постучал пальцем по столу. — Я скажу, что ты торговый человек из дальних мест, который много ездил и много видел, а теперь по своей воле служит царю. Это правда, хоть и не вся. А про туман и про четыреста лет ты больше никому не скажешь. Ни слова. Ни Гурию, ни стрельцу, ни попу на исповеди. Понял?

— Понял.

— Гурий, ты слышал?

— Я… я ничего не слышал, Иван Михайлович. Я глухой. От рождения.

— Хорошо. — Висковатый повернулся ко мне. — Почему ты сам мне сказал? Мог бы соврать. Сказал бы, что из Литвы, или от татар бежал.

— Плохие новости надо приносить первым и лично, — сказал я. — Иначе их принесёт кто-нибудь другой, и в худшем виде.

Висковатый подумал.

— Это твоё правило?

— Номер четыре.

— А сколько их у тебя?

— Пять.

— Скажи все.

Я сказал. Первое: клиент не всегда прав, но он всегда клиент. Второе: никогда не спорь с клиентом в гневе, запиши и приходи завтра. Третье: не говори «невозможно», говори, сколько это будет стоить. Четвёртое: плохие новости неси первым и лично. Пятое: обещай меньше, делай больше.

Висковатый слушал, закрыв глаза. Потом открыл и сказал:

— «Клиент». Это что значит?

— Тот, кому служишь. С кем работаешь. Чьё доверие бережёшь.

— Значит, государь для тебя клиент.

— Самый ключевой, Иван Михайлович.

Он хмыкнул. И впервые улыбнулся. Улыбка у него была скупая, быстрая, как будто он экономил и её тоже.

— Ладно, — сказал он. — Испытаем. Иди сюда.

Он показал на стол в углу, заваленный бумагами больше остальных. Там лежали свитки, листы, связки, некоторые покрытые пылью, некоторые свежие.

— Это челобитные, — сказал Висковатый. — Не мои, а Алексея Фёдоровича Адашева. Он у государя по челобитьям, в Челобитной избе. А у него завал. К нему со всей земли жалобы везут, а он один. Он у меня попросил человека в помощь, на неделю, а мне дать некого. Вот ты и пойдёшь. Покажешь, чего стоит твоё правило номер один.

Челобитная изба оказалась тем, что в моём времени назвали бы отделом по работе с обращениями граждан, а в моей компании — отделом рекламаций. Только масштаб был другой. В «Подъёмнике» жаловались на застрявшие лифты и грубых монтажников; здесь — на воевод, наместников, соседей, лихих людей, неурожай, пожар, отнятые земли и всё прочее, что могло испортить человеку жизнь. Разница была ещё и в том, что у нас жалобу можно было закрыть в системе. Здесь для этого, похоже, требовались печать, царская воля и крепкие нервы.

Алексей Фёдорович Адашев оказался человеком лет тридцати, невысоким, сухощавым, с внимательными серыми глазами и тихим голосом. Он не повышал голос ни разу за всю неделю. Говорил он мало, слушал много, и когда слушал, смотрел прямо в глаза, так что казалось, что он видит, что у тебя внутри, и ему это не нравится, но он понимает. Одевался он скромнее всех в Кремле. Тамара мне про него рассказывала. Она говорила: Адашев был из простых, худородный, и государь его возвысил за ум. Я тогда, помню, спросил, как это у них получилось

без собеседования и тестового задания. Тамара сказала, что у Ивана Васильевича было одно тестовое задание: не врать. И что проходили его немногие.

— Иван Михайлович сказал, ты умеешь разбирать, — сказал Адашев.

— Умею, Алексей Фёдорович.

— Покажи.

Он подвёл меня к ларю. Ларь был огромный, дубовый, окованный железом. Адашев открыл крышку. Ларь был полон челобитными доверху. Сверху лежала дохлая мышь.

— Это за последний месяц, — сказал Адашев тихо. — Я не успеваю. Подьячие у меня читают все подряд, по порядку, как пришли. А пока они читают жалобу про мельника, где-то в Рязани у вдовы отнимают последнюю землю. Я так не хочу. Но иначе не умею.

Я засучил рукава.

Неделю я работал так, как не работал с девяносто восьмого года, когда после дефолта мы три месяца продавали лифты за бартер, а однажды за вагон тушёнки, и я лично развозил эту тушёнку по клиентам в качестве бонуса. Я читал челобитные. Читать их было трудно. Почерк был ужасный, буквы непривычные, слова без пробелов, а титла сверху, как шапки, сокращали всё, что только можно. Первый день я прочёл три челобитные. Второй двадцать. На третий день Гурий, который приходил ко мне вечером после службы, научил меня главным сокращениям, и дело пошло.

Я сделал то, что делал всегда. Я разложил всё на четыре кучи.

В первую кучу шло срочное и важное. Где люди могут погибнуть, остаться без крова, где отнимают землю, где грабят прямо сейчас. Во вторую важное, но не срочное: старые тяжбы, споры о межах, долги. В третью срочное, но неважное: мельник с лугом, поп, который пьёт, сосед, который ругается через забор. В четвёртую то, что не было ни срочным, ни важным. Например, челобитная одного дворянина из-под Твери, который жаловался государю, что его тёща плохо готовит. Шесть листов. С примерами.

Эту кучу я назвал про себя «Тёща».

Ещё мне страшно не хватало стикеров. Тех самых, жёлтых, квадратных, которыми у нас в «Подъёмнике» обклеивали всё, от мониторов до кофемашины. Без стикеров я чувствовал себя как без рук. Пришлось изобрести их заново. Я выпросил у Кондрата пук бересты, нарезал её ровными квадратиками и стал писать на них углём пометки: «срочно», «важно», «к Адашеву», «Тёща». Квадратики я втыкал в челобитные, как закладки. Подьячие смотрели на это с ужасом, как на колдовство. Через три дня у каждого из них на столе лежала своя пачка берестяных квадратиков. Через неделю самый молодой подьячий, Фрол, приклеил мне на спину, пока я не видел, квадратик с надписью «ключник». Я проходил с ним полдня. Адашев заметил, но ничего не сказал. Только, проходя мимо, поправил, чтобы висел ровнее.

Ещё я завёл листы. Бумага в Кремле стоила дорого, но Адашев мне дал. На каждом листе я писал: от кого челобитная, откуда, на кого, о чём, и куда я её положил. Это была, по сути, база данных. Бумажная CRM. Станислав бы удавился, но она работала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.